

Саранча

Повесть

В тишине

КЛЮЧ С ШУМОМ открыл старый замок на тяжелой двери и впустил человека внутрь. Он был в спортивном костюме. Он прикрыл дверь, стараясь делать всё как можно тише, прошёл вперёд по просторной зале, сопровождаемый эхом пустого помещения; шёл уверенно и быстро, точно зная, где находится то, что его интересует. Он остановился у стены, вынул откуда-то фонарик и включил его. Вокруг засверкало тусклое церковное золото. Это, по-видимому, напугало его, и парень погасил фонарик. Чертыгнулся. Поковырялся в карманах.

«Ть-к-ть-к-ть-к-ть. Пшш, пш, пшшшш...»

Без сна

ПРЯМО ПОД ОКНОМ ярко светила лампа уличного фонаря. Живи я на этаж ниже, пришлось бы зашторивать на ночь. Я все равно не мог уснуть. Под фонарём стояла машина, скорее всего, «девятка». Малиновая или красная. А во-

круг неё собралось человек двадцать, может, меньше. Изнутри дребезжало: «...пусть бушует в сердце крооовь, мне нужнаа твоя любооовь!».

Единственный приятель и сосед Сеня прилип к койке. Иногда забавно наблюдать, как он спит. Его как бы прижало сильной гравитацией, голова придавлена щекой к подушке, рука свесилась к полу. Кажется, если перевернуть кровать, он останется на ней, а рука вывернется и повиснет под неестественным углом.

...А потом он проснется и грохнется.

Я представил, как свет, бьющий в окно соседей снизу, ненадолго заглянул в мой угол. Он подсветил пыльные полки рядом с кроватью, обвёл контур окна. По моему лицу прошла тень от рамы, разделяющей два светлых пятна: одно упиралось в шкаф, другое тянулось по стенке слева.

Музыка закончилась. Раз, два, три... «Этой ночью я умру за твою красоту. Жизнь тебе дарю...»

Встал с кровати, подсветил телефоном беспорядок на тумбочке. Схватил штаны и вышел. Я часто не могу заснуть в общежитии. Тогда беру вещи и иду рисовать в кухне. Слава богу, соседи не буйные! — тихая кухня пустует ночью.

Вернулся в комнату и взял этюдник, рискуя разбудить приятеля. На кой черт? Даже свет включать не буду. Посижу под лампой, пома-

люю, пока не разъедутся, и спать. Открыл блокнот.

Первые линии рисунка всегда банальны. Когда не знаешь, «что это будет». Это нос, или улыбка, или дерево. Потом, по ходу, нос становится куриной лапкой, из нее получатся курица, рядом мальчик улыбается.

— Чего ты улыбаешься? — Мама не любит, когда мы кормим Жука с рук. — Сейчас тяпнет.

— Не тяпнет, он добрый.

— Добрый. — Кивает мама, не отрываясь от прополки палисадника. — Он котлеты любит. Ты с утра ел котлеты?

— Нет. — Смеюсь.

— Ел. А он нет. Вот и тяпнет за руку. Она у тебя мясом пахнет.

— Доброе утро, соседи, — кричит соседка прямо из своего двора. Это тетя Валя.

Я молчу. Мама отвлеклась от работы.

— Доброе, — говорит она.

— Ты знаешь, Ань, Сашка с армии пришёл Олькин. Я вчера в гостях была. Говорит, едут с ребятами в Ростов на неделю. В порту устраиваться. Моряки.

Мама хмыкает. Тетя Валя хмыкнула громче и подошла к низенькой сетке.

— Здра-аствуйте, — с гадкой улыбкой тянет она. — Чего приуныл, Степашка?

— Драсте. Я не приуныл.

— Сколько у тебя канапушек! У меня в детстве было также. А потом как-то вывелись. Сами.

Я молчу. Я еще тогда понял, взрослые любят, когда дети говорят всякую глупость. И чем умнее мы стараемся выглядеть, тем глупее они смеются и забавляются. Если молчать, то они быстро конфузятся и уходят.

— Ты Сашку знаешь? Антонова. Он моряком будет. — Молчание. — А вы кем стать собираетесь? — находится тетя Валя, снова обращаясь к маме.

Мама продолжает полоть.

— Мы рисуем, — ответила она.

— Художником будешь?

— Не знаю.

— А хочешь быть?

— Не знаю.

— Ладно... пошла я. Давайте.

Это правда, что рисовал я с детства. Однажды, давным-давно, папа подарил мне профессиональный набор карандашей и блокнот. Я уже умел читать. Умел прочесть: «Карандаши профессиональные...». Название марки я так и не запомнил — тогда дошколята не знали английских букв. Я изрисовал блокнот за неделю. Ка-

рандаши источил за два месяца. Помню, папа тогда смеялся: «Съел ты их, что ли? Ну-ка, открой рот... Точно, съел, смотри — зубы чёрные. Сладкоежка!..».

Никогда не мечтал стать великим художником, но с пятого класса, когда пошел в художку, все негласно сошлись на мысли, что я буду рисовать. Мама всегда относилась к этому с чрезмерной важностью. Когда отец просил помочь, она отводила его в сторонку и шептала: «Не видишь, мальчик рисует?». У него не сделана математика и литература. Мальчик рисует. Мне часто приходила в голову мысль: а что, если мне оторвет руки, даже нет, только правую, — всё, чему я научился, исчезнет.

В кухню вошел Сеня. Он заглянул в холодильник, достал пиво, сел рядом.

— Задрали эти кещ-мещ! Ненавижу их! Стопудово, это они всякую херню на иконах пишут.

Сеня говорил об иконе, которую вынесли из церкви неподалеку. Поперек иконы была сделана надпись фиолетовым баллончиком: «ШАРЛАТАНЫ».

— Не думаю, что это они, Сень. Это для них слишком...

— Чё рисуешь? Пива хочешь?

— Нет. Ничего, — вырвал лист, скомкал, бросил в урну.

Он свернул лампе голову, потом опустил, и она повисла, глядя в стол.

— У тебя от лампы волосы как будто потемнели.

Движения у него грубые, работы все тёмные.

— Да... Ты завтра на философию пойдешь? — поддержал я беседу.

— Первой? — Сеня с неохотой дососал пиво и скривил грубые складки на щеках. Эта гримаса часто прорисовывалась на его доброй морде, особенно после сна.

— Ага.

— Не. Я тока в мастерские. Видел мою «Парижанку»?

— Да.

— Как тебе?

Безвкусица.

— Нормально.

— Ладно, я спать.

— Давай.

Я снова взял карандаш. На этот раз не думал, что получится. Просто малевал как всегда. В какой-то момент уловил, что стало тихо. Ни музыки, ни смеха. На листе обнаружилась жирная сороконожка невероятных размеров. Рядом с ней стоял человек в латах. Даже оставлю.

Собрал все и вернулся в комнату. Мельком заметил в зеркале, что в темноте волосы стали почти каштановыми, как у мамы. Лёг.

«Сороконожка! — последняя мысль перед сном. — Снова сороконожка...»

Бокалы и лягушки

ПОМНЮ ПЕРВОЕ занятие в мастерской. Мастер, тогда я видел в нём мудрого и болезненно-старца без волос на голове, говорит: «Я хочу, чтобы вы взяли красный цвет». — «И что дальше?» — «Нанесите на холст!» — «Вот видите, — говорит потом, — как по-разному все справились с задачей? Я хочу, чтобы вы поняли, что значит для художника оригинальный взгляд».

Сегодня мастера нет. Он редко бывает на занятиях. Много рассказывает про свои знакомства с великими художниками, пока все не закончат работу. Мне кажется, в такие дни он пьёт.

Сегодня мы одни. Сидим полукругом. На подставке, увешанной синим бархатом и рыжим атласом, стоит чопорный графин с двумя бокалами. Один — с водой, другой — треснул. Это бесит.

— А что, другого бокала не нашлось? — Я всегда начинаю вежливо, но уже чувствую, что внутри теплым противным пивом начинает пениться злора.

— Не нашлось, — ответила Даша-одногоруппница. — Рисуй так, хорошее упражнение.

— Это не упражнение. Это идиотизм какой-то! Какой дебил будет ставить на бархат рядом с графином битый бокал?

Щёки уже покраснели в тон шевелюре, я чувствовал это. Я всегда краснел, как помидор. Румянец заливал веснушчатое лицо и тёк к вискам, пока не розовели уши, делая все, что выше плеч, похожим на чупа-чупс.

— Ну, а нам что прикажешь делать? Идти за бокалами?

— А что, убрать его просто нельзя?

— Сюжет изменится.

— Он и так изменился, дебилы...

— Слышь, заткнись, — это Артем начал бычиться. — Я уже начал рисовать, так что сядь и не ори. Не хочешь — не делай.

— Раз уж вам так хочется оставить этот бокал, давайте и графин расфигачим! А что? Цельно? Цельно!

Я направился к подставке. Ко мне вмиг подлетел Сеня.

— Ты чего?

Он схватил меня за руку, вырваться невозможно.

— Отвали, быдло! Отстань, я домой.

Сеня отпустил.

— Иди поспи.

— Сам поспи!

Вышел из мастерской. У раковины в зеркале следил, пока не сойдет последняя краска. Лицо бледнело медленно, уши оставались багровыми. В коридоре мало кто шатался. На окне сидели наши наркоманы.

Им вообще пофиг.

Представляю: «Сегодня, ребята, рисуем лягушку. Ой, а где она? Ну, ладно, значит, рисуйте по памяти...». И рисовали бы! Тупые.

Отыскал в подсобке швабру. Выждал пять минут. Потом еще две, чтобы решиться. Влетел в аудиторию и, пока никто не понял, что к чему, расхреначил графин.

— Контуженный... ты — псих!.. Ненормальный...

Я встал на постамент и распинал оставшиеся осколки.

— Спасибо за внимание, друзья. Сегодня рисуем осень! Приятной работы.

Из темноты

ОНА СИДИТ В ПОДСОБКЕ, где швабры. Тут воняет мокрым паркетом и старыми тряпками. Она смотрит в щель между дверью и коробкой на циферблат в коридоре — экран смартфона может выдать ее. Ждать осталось совсем немного.

В 18:03 пришел сторож, потушил свет в коридоре и утопал к себе. Когда звук шагов совсем исчез, она вылезла из тесной каморки и вошла в комнату. Тут было много небубанных игрушек, в углу двумя колоннами стоят пластмассовые горшки. Справа — еще одна дверь в соседнюю комнату. Там рядами выставлены маленькие кровати.

Рука нащупала рукоятку выкидного ножа в кармане. Ткань хрустит слишком громко, а глаза слезятся. Она не так себе это представляла.

С работы на работу

СНОВА СИЖУ на кухне. В комнате Сеня. Он, кажется, дуется. На листе Аслан. Мой друг детства. Вместе и поступали, но он уехал в ЮАР по обмену. В последний раз отправил мне бандеролью пластмассовый банан с подписью: «Рисуй!

Сколько нарисуеть до каникул, столько привезу».

Я усадил его на бархатный постамент, в одну руку вставил лягушку, в другую — разбитый бокал.

В который раз замечаю, что друг слегка похож на Пушкина, когда я его рисую. Вот так немного баки подправить, и здравствуйте, Александр Сергеевич! Перевернул страницу. Глаза устали. Сам собой на лист ложится гладкий хитин. То есть это пока только линия, но я уже знаю; пока линия не согнулась, я могу еще выбирать, кто это будет: таракан или оса (не, оса уже не получится). Так пока линия не упрется в свой конец, когда кроме саранчи уже ничего не получится.

И тогда уже из долга продолжаешь саранчу. Вытягиваешь длинную саблю под крыльями, обводишь чёрные матовые пятна глаз. Никогда не ясно, куда она смотрит. Аслан ловил таких и стравливал с пауками. Пауков я боюсь. Саранча, видимо, тоже. Её сильные жвала судорожно перемалывают опасного противника, пока огромные пальцы не выпустят на траву. Или пока не умрёт.

— Вечно ты всякое страхолепие рисуешь.

Сеня вырвал меня из мыслей. Я стыдился за графин.

— Прости, Сень...

— Да ничё, рисуй, — он хохотнул.

Я улыбнулся. Он взял из холодильника яблоко. Помыл и ушел. Большие капли часто молотили по жестяной раковине. Пап-бап-пап-бап-пап... В них влетался громкий бит из соседнего блока. Толик опять сходит с ума. Кажется, скоро я выучу его плей-лист наизусть.

— Тём, ну постучи ты этому дятлу, — взмолился Сеня, — пускай вырубит свою шарманку. А то я его сам вырублю. — Потом мне: — Ты начал новую картину?

— Да, видел?

— Пустовато... но по цветам хорошо, сочно. А что с этой, страшной, про ложе?

— Оставил. Там надо весь верх переписывать, бархатом.

— Блин, ты так ничего не закончишь. Прыгаешь с работы на работу, как стрекозёл.

— Эту точно закончу.

но встал спасательный круг, тогда худые волосатые ноги завершились ластами. Рядом с головой поплыла селёдка, а рядом со мной спит Сережа-отличник. Аслан машет руками, и Сережа плывет на помощь.

Я сижу на берегу и спрашиваю маму:

— Мам, ты сыр расплавила на бутерах?

— Нет. Он так испортился бы.

Мне грустно. В пяти метрах от моих пяток течёт Дон. Огромный и красивый. Папа хотел научить меня плавать, но мама говорит, что течение сильное. Мы с ней сидим на берегу, а они с Асланом, Виталиком и дядей Андреем играют в догонялки. Взрослые не умеют реалистично подыгрывать.

Потом в бассейне меня уже учил Аслан, но ничего не получалось, и вместо этого мы тратили деньги на чипсы и билеты. Мы катались в автобусах по городу. Аслан всегда садился к окну и рассматривал город, а я — старушек напротив. Непременный седой пучок волос на голове, морщины вокруг глаз и отвратительные уши. Старушки улыбались или строго щурились, но меня привлекали уши. Не видел ещё ни одной бабки с красивыми ушами. Хотя бы с нормальными ушами. Среднестатистическими.

Старуха не поместилась целиком. Её обрезал крутой обрыв страницы. Можно было разглядеть только голову старого Будды и высоко поднятые руки с вязанием.

Пара кончилась.

Дома ждала неоконченная картина. Вообще их скопилось уже около двух десятков, но над этой я трудился и, правда, думал, что закончу. Как сказал Сеня, она была пустой. Поле с колосащимся зерном под закатным солнцем. Все в ярко-оранжевых, броских цветах, а небо ярче, чем поле. Не было ни дерева, ни кустика на этой работе. Пустое, голое поле, пустое, глубокое небо.

Конечно, не шедевр! А мне и не нужен шедевр! (Вру, как и все.) Через неделю отставил — уже не за шкаф, потому, что там нет места, — убрал на полку в кухне.

Эксперименты

ОТЧЕГО ПРОСНУЛСЯ — не знаю. Сна, кажется, не было, никто не шумел. Во рту пересохло, подушка казалась горячей, ноги — ледяные. Хотелось сделать что-нибудь невероятное.

Лежу. Глаза быстро нашли очертания мольберта, вынес все в кухню. В душе снял зеркало и поставил в кухонную раковину. «Нарисовать

Плавание

НА ИСТОРИИ ИСКУССТВ снова рисовал Аслана. Теперь на нем была его серая дутая куртка в клетку, похожая на мешок с картошкой. Вокруг пояса вместо ремня неожидан-

себя, запечатлеть настроение», — мысль пришла сама собой. Рыжие клочки волос грязными хвостиками торчали в разные стороны, широкие зрачки вперились в грязное зеркало. Теплый свет от лампы давал контраст. Работа закипела, но, когда весь холст заблестел маслом, — глаза перестали казаться сумасшедшими пятнами, волосы бесстыдно улеглись.

Тогда я оставил все как есть и взял блокнот. За столом под лампой рука снова побрела по листу, но в этот раз не хитин вылез на широкий лист — длинная женская шея. Пошли эксперименты. Студентки, актрисы, официантки и все кто угодно...

Из нашей комнаты донеслись звуки будильника, а следом — Сенины сонные и бурчащие. Я отвлекся, глянул на автопортрет, — эта мазня убила желание продолжать стюардессу. Вырвал несколько изрисованных листов, забрал холст и ушел из общаги. В кармане были спички. В пустом мусорном баке загорелись сначала бумажки, но скоро вспыхнул и холст. Копоть от масляных красок потянулась вверх по железной стенке бака. От угла работы к центру потянулось неестественное блекло-зелёное пламя, лопающее болезненно-сизые волдыри на моей шее. Наблюдать разрушительные изменения портрета даже доставляло своеобразное наслаждение. Нос ловил резкий запах преображения. Скоро все потухло. Чувств не осталось. Усталость.

Сеню нашел уже с кофе за столом. Лампа ещё горела.

— Блин, чё зеркало делает в раковине, луна-тик?

— Сейчас уберу.

Я взял зеркало и понес в душевую. Иссяк. Лучше бы побрился. На парах буду спать.

Скучные диалоги

СЛЕДУЮЩИЕ ОДИННАДЦАТЬ дней я не мог взять карандаш в руки, не хотел видеть мольберты, альбомы, тетради. Пустое место в них всегда заполнялось рисунками, испещрялось узорами или надписями, а теперь я боялся его. Я хотел слушать музыку, залипал в «Ютюбе» и подолгу гулял с Сеней. Кажется, он совсем забыл случай с графином, и мы снова вернулись к нашим скучным диалогам и непонятной соседской дружбе.

— Ты знаешь, — как-то неуверенно начинает он на одной из прогулок по городу. — Наши за-

очники делают выставку в первом зале. На этой неделе.

— Пойдешь? — спрашиваю, а сам уже знаю ответ.

— Я — не. Еду в Турцию на неделе. А ты сходи.

— Ага. — Я отстраненно смотрю вперед, стараясь отогнать решение посетить выставку на потом. Разговоры и мысли о рисовании угнетают, и я стараюсь от них отделаться до лучших времен, но Сеня неумолим в своей прямооте.

— А чего ты все забросил? Ты ж вечно рисовал. Как ни посмотрю — ты чего-то фигаришь. Я, конечно, и сам не против, но не каждый день. Я растягиваю.

— Просто отдышал. Сегодня попробую. Есть одна задумка.

На выставке

НА ГРЯЗНО-КОРИЧНЕВОМ небе, как на старой занавеске, висит мраморная луна. Читаю имя автора: «Сергей Шершневу, 3 курс». «Небо и луна». Ничего больше. Тут нет бездонности, нет трепета перед космосом. Таланта тоже нет.

Я обошел все картины уже по второму кругу. От работы к работе. Я не чувствую того, что чувствовал раньше. Я никогда в жизни не вдохновлялся чужой живописью, но часто подолгу рассматривал полотна классиков, надеясь найти неуловимый оттенок шедевра.

Никогда не думал, что мне будет нечего рисовать.

«Так бывает со всеми». Слова мастера. Но я — не все. Я видел, как Сеня мучает холст, а сам бредит новым иксбоксом. Мне не нужен иксбокс. Я хочу снова прыгать с листа на лист, оставляя за собой только пустые поля и насекомых. Мне хочется прыгать вперед, не зная, куда именно меня забросит мой карандаш и когда совсем ненадолго раскроются крылышки с прожилками. Когда скажу себе: «Неплохо... Даже оставлю» — и полечу дальше.

Но остается только пустая болтовня одногруппников, трёп, а я сижу на перемене, смотрю, как надулись вены на руке — сжал кулак. Постепенно расслабляю. Вены сдуваются, становятся похожими на призраки вспышек в закрытых глазах. В какой-то момент я не уверен, они ещё есть или уже исчезли?

Линия молнии рассекает чёрный холст (в одном месте он прожжён, кажется, нарочно), удаляется в блик от яркой галерейной лампы.

— Нравится?

— Чуть... — ответил я, не успев оторваться от мысли и вспомнить, что стою на выставке.

Я поворачиваюсь: мужчина в костюме. Он в том возрасте, когда мужчине можно дать от «около тридцати» до «трое внуков и поджелудочная». Вокруг глаз морщины. Когда он улыбался несколько секунд назад, они растянулись паутинками к вискам. А теперь, когда он снова глядел на картину, лицо приняло особенный вид человека, рассматривающего предмет искусства. Не знаю, давно ли он тут стоит.

— Слабовато, — наконец заключает он снисходительным тоном, не отводя глаз от картины. — Но что-то тут есть.

— Так вы не автор?.. — выдыхаю немного нервно, переводя взгляд от лица к рукам.

Художник. Я понял это, когда он сложил пальцы, как будто вдруг почувствовал в руке кисть. Я тоже представляю, как пишу чужие полотна.

— Вы рисуете? Лучше? — спрашивает мужчина.

— Пишу.

Зачем я это сказал? Самому же ужасно не нравятся эти придирки.

— А-а... — с наигранным пониманием тянет он.

— Да это так. Ерунда.

— А с собой что-нибудь есть? — спрашивает.

Я наглядно рыскаю по карманам, знаю, что там пусто.

— Забыл. Скetchбук.

— А часто вас просят нарисовать что-нибудь?

— Нет. То есть да. Когда разговор заходит — постоянно.

— Бесит?

Я интересен ему. Пытается смотреть в глаза.

— Да нет. Они уже когда просят, знают, что не нарисую. Честно говоря, я не понимаю, зачем они это делают. Мне это льстит. Вот и все.

Мужчина пожал плечами и сунул руки в карманы.

— Нарисуете для меня?

Я поднимаю одну бровь — он делает то же, потом добавляет:

— У меня тут скоро своя выставка. То есть, конечно, рисую не я — моя группа. Моя фамилия Львов. Слышали? Хорошо. Могли бы участвовать в нашем проекте. Мы устраиваем вечера у меня дома. С радостью пригласил бы вас в свой кружок, но у нас правило: вместо пропуска — одна работа. Если это, конечно, интересуется.

Меня интересовало. Я был много наслышан о Львове и его «львовцах». Ходили слухи, что он преподавал когда-то у нас на заочке и был в крепкой дружбе с ректором. Но потом ушел.

Уже не первый год он собирает вокруг себя небольшие группы студентов и делает свои выставки. На картины приезжают смотреть из Москвы. Лучшим работам уготовано стать билетами в престижные вузы. Кажется, не так давно он пригласил в кружок Сашу Тихомирову с нашего курса. Все видели ее экзаменационную работу в прошлом году. Видимо, заметил и он.

— Я — с радостью.

Следы от вен точно исчезли, и от скуки я с неохотой тянусь за карандашом. Тонкие пальцы держат большой фотоаппарат на вытянутых руках. Объектив смотрит в лицо фотографа, лицо — не получается.

Я пробую рисовать портреты один за другим. Карандаш искажает задумки, линии текут неустойчиво, а я все пытаюсь править свои рисунки.

Это похоже на сон, в котором не получается двигаться, как в жизни: ноги сплетаются, тело клонит вбок. И все кажется, что сейчас встанешь и пойдешь, а если не встанешь — разочешься ходить.

Папа всегда говорил: «Сон — враг искусству. Лучшие вещи приходят ночью».

Он часто подолгу «творил» ночами. В основном что-то небольшое для фортепиано, а утром просил яичницу на сале. Часов в шесть папа тихонько играл, не дожидаясь, пока мы проснемся.

Спасательный друг

СЛЕДУЮЩУЮ НОЧЬ после выставки я плохо спал. Снилось, как Сеню бьют на тренировке, а потом нас обоих продают в рабство; как его хватает жвалами огромный муравей, а потом они оба тонут в ручье... А ещё падения. Мы прыгали на старых перекладах, чтобы потом сорваться в бездну, падали со стремянки, летели в ущелье в одной из его любимых игр... Каждый раз я просыпался, инстинктивно дергаясь. Потом быстро засыпал и просыпался снова.

Сонным утром, в троллейбусе, я зарисовал один из ночных кадров. Вышло очень неплохо: Сеня стоит на бордюре, подняв левую ногу по-собачьи и растянув руки. «Ой, досточка кончается...» Ещё несколько кадров, как он не удержался и полетел с бордюра в пропасть. Его искажённое жутким страхом лицо ударяется о землю, превращается в блин.

Следующий рисунок рассказывал о неудаче на первом свидании, потом — серия карикатур «Сеня-ассенизатор». С кучей излишне натуралистичных реалий этой нелегкой работы. Сар-

казм разливался на бумаге, став в то же время моим спасательным кругом. Сосед падал с высоты и взрывался, как манекен на краш-тестах, а я снова мог не выпускать карандаш. Он опоздал на этику. Он увидел мое лицо, довольно хмыкнул, заметив рядом пустующий стул, и плюхнулся на него.

— Ты же тут один?

— Да. Ты уже знаешь ответ, а все равно спрашиваешь. Ну, а если бы я сказал, что жду кого-то, то что? Мест тут больше нет. Что б ты сделал?

— Вежливость, — Сеня развел руками. — Чёт ты хмурый.

Он глянул на скетчбук, но я успел прикрыть его ладонью. Стало как-то не по себе. Совесть нещадно залила лицо кисло-красным соусом. Все утро я с энтузиазмом циркового клоуна калечил и убивал на бумаге своего соседа. Кажется, он не заметил. Я выдохнул и закрыл скетчбук.

— Сень?

— Чего?

Я собрался, прочистил горло.

— Задумывался, что нам нужна духовная пища, чтобы писать? — прозвучало по-дурацки.

— Отстань, я конспект пишу. — Он вытянул прямой палец и стал водить им по пустой парте.

В этот момент Инна Владимировна в очередной раз напоминала о скором зачёте и негодовала по поводу разрисованной иконы. Сеня хохотнул негромко над своей шуткой и переспросил.

Я переответил.

— Ну, и что?

— Ничего.

Мы замолчали.

— Сень?

— Ну?

— И что за пища?

— Лучшая пища для души — красивое женское тело, — Сеня растянул улыбку во всю морду, собираясь отвесить какую-нибудь глупость. — А для тела — углеводы.

Я не собирался слушать его увёртки. Сегодня мне нужно было с ним поговорить. Как с художником. Хотя, если бы был выбор в беседах, я оставил бы соседа в покое.

— А про эстетику отвратительного слышал?

В лице его что-то поменялось: Сеня как-то скис.

— Ну, слышал...

— И что?

— Ну гэк, это ж искусство... — Сеня поглядел с минуту задумчиво в глаза лектора, а затем лег

на парту, повторяя позу остальных спящих. — Разбуди за пять минут, пойду курну.

— Угу.

Инна Владимировна продолжала негодовать, потеряв еще одного студента.

Известность

Я ЗАСТАЛ ЭТИХ ДВУХ придурков фотографирующими мой скетчбук на кухне. Тошик и Тёма тряслись, скрюченные от смеха, и перелистывали картинки. Со страниц смотрел Сеня, не успев сообразить, что за ним гонится ротвейлер. На других он открывал тушёнку китайскими палочками и примерял наряд индийской танцовщицы.

Дневник пришлось отбирать. Не хотелось говорить об этом с Сеней: «Парень он простой, обидеться не должен...».

На следующий день по институту развесили фотографии моих работ. Не забыли, разумеется, указать авторство. Тогда мы вообще перестали общаться. Хотелось все рассказать. Иногда. Вот только я молчал: то ли от гордости, то ли со страху. Тут еще хорошо, что по физиономии не получил. Впервые мои работы стали пользоваться общеинститутской популярностью, но это совсем не радовало.

Своя муза

МЫСЛИ О СЕНЕ и о скорой сессии совершенно выбивали из колеи. Сюжеты картин и настроения эскизов бледнели и рассыпались, стоило мне оторвать кисть от холста. Поэтому еще две недели я не решался сесть за картину для Львова.

Первой и лучшей работой я считал пшеничное поле. Было в нем что-то неуловимое. Где-то там чувствовался оттенок шедевра.

На втором месте — сцена сна на прокрустовом ложе. Когда давным-давно у меня появилась задумка об этой картине, я упал в такую бездну, что, кажется, почувствовал прохладу Стикса. Я смутно представлял, как выглядел бы Прокруст, не думал ни о чем, кроме комнаты, где он лежит, — черной и тесной. С окном, в котором видно лицо победителя — Тесея. Страшное лицо героя — оно искажено ужасом.

Вот только пока вместо лица героя в окне маячит пятно с пластмассовой копной, а на стене вместо бархатной драпировки — какой-то кусок парусины.

Остальные задумки представлялись убогими и скучными.

Начинались весенние праздники. На три дня я снял комнату на соседней улице. В ней стоял новенький диван-малютка и застарелый неприятный запах. Из открытого окна в комнату падали светлые пятна, делая комнату приветливо-приятной. Снаружи по временам от ветра ежились кусты шиповника, до конца не разбуженные тусклым весенним солнцем.

Мольберт установил в центр почти пустой комнаты. Закипела работа. Сосредоточенный взгляд скользит и скатывается по свежей краске от мазка к мазку. Деревянный пол мягко поскрипывает под моими ногами, когда я тянусь за тюбиком или маслом. По кровати стекает струйка крови. Она капает на стенку сосуда с вином. Бархат свисает с тумбы и прикрывает отрубленную руку. Вокруг уныло тускнеет бронзовая посуда, золотые кольца и диадемы. Один из погребальных сосудов с историей Фив упал красными фигурами воинов на бок, залил маслом восточные ткани.

Ближе к вечеру начался дождь. Пришлось закрыть окно. Это меня расстроило: резкий запах старья мешал думать о работе, я то и дело отвлекался. Пришлось ненадолго выйти на улицу. Заметив это, хозяйка вручила мне зонт облепихового цвета и попросила зайти в магазин, «если вам не трудно».

Было около полуночи, может, чуть позже. Я брел двориками в сторону общаги. Редкие крупные капли лопались о зонт со сбивчивым ритмом шаманских барабанов. Я остановился около общежития, слушая камлание дождя, — было в этом что-то прекрасное, по-настоящему дикое и творческое. Болезненный хруст липовых ветвей под грозовым ветром, старые обшарпанные окна, все разных цветов, и запах черемухи. Где-то тут гуляет муза.

За углом промчалась машина с сиреной. Пожарка. За ней следом еще две. Муза закрыла уши, упала, забилась истерично на мокрой траве, умерла, сгорела. И тут же, возродившись из пепла, понеслась куда-то за угол, ориентируясь на звук сирены.

Вернулся обратно, забыв про молоко и семечки. Та муза ни за что не могла быть моей. Ни первая, ни вторая. Моя — забилась под диван-малютку в этой самой комнате, чуя затхлость, железный запах крови и ароматических масел.

Писал всю ночь. В шесть утра дождь прекратился. Отложил кисть, когда первые облака со светлыми подошвами зашаркали по серому не-

бу. Ощущалась сильная усталость. Болели колени и виски. Я лег на диван. Тут оказалось застиранное покрывало. Это последнее, что я заметил перед тем, как закрыл глаза.

Спал до позднего обеда. Потом еще немного, после еды. Встал совершенно разбитым. К вечеру поднялась температура.

Весь вторник промаялся без дела. Дважды гулял по городу. Встретил Тёму. Он рассказал, что кто-то вчера ночью поджёг поликлинику.

— Где?

— Тут, неподалёку. Говорят, разбили стекло в ординаторской, налили бензина и подожгли.

— Я видел вчера пожарку.

— Да?

— Ага. Ну, ладно, пойду я. Давай. Дела...

Дописал картину ночью и весь следующий день смотрел сериалы и проедал НЗ на карточке со стипендией.

Вечера

ВОКРУГ ПОЛОТНА плотным кольцом выстроились львовцы. Каждый глядит на работу с особенным выражением лица, якобы придающим значимости их коротким комментариям.

— Не скажу, что мне не понравилась работа, — тянет Игнат. — Просто она мне кажется слишком... гламурной, что ли.

На Игнате кремовый шарф и берет. Он слегка выпячивает нижнюю губу, когда говорит, — поэтому кажется, будто он всегда обижен. Как будто потерял свою игрушку.

— Чувствуется бутафория, — тихим баритоном произносит Валя (Валентин), глядя больше на кудрявые волосы Ани, стоящей чуть сбоку от него. — Слишком реалистично для мифологического сюжета.

— Дело не в этом, — задумчиво, полушёпотом говорит Аня, заметив взгляд Вали, и откидывает прядь волос назад. — Много пафоса. И идею видно сразу. Если в картине нет загадки — это не картина.

Вся группа — шесть студентов со второго по пятый курс (с нашего только Саша и я). Когда все, кто хотел, высказались, Львов оглядел нас и улыбнулся. Наставник был доволен. То ли картиной, то ли критикой.

— Все не так просто, друзья мои. Все просто, но не так. Центр внимания — ложе. Не Тесей, не богатства, да? Бутафория не бросается в глаза, потому что глаза стремятся разгадать загадку усечённого разбойника. Проследите компози-

цию: светлое пятно в центре работы — самое большое. Тут остановится наш взгляд в первую очередь. Теперь идём дальше — окошко. Тесей. Дальше — блики на сосудах и ткани. Вы заметили, что всё остальное пространство — чернота? У зрителя куча пространства. Мы стоим в комнате... Ты стоишь в комнате? — спрашивает он одного из неизвестных мне ребят.

Тот молчит, Львов продолжает:

— Сразу всплывает одна картина, когда смотрим на эту...

— Смерть Марата... — активизировался парень, которому задавали вопрос.

— Да! — сияет Львов. — Друзья, Степан нашёл, полагаясь на интуицию, то, к чему мы уже так долго идём. Не думаю, что это случайность. Этот мрак должен был откуда-то появиться.

Мою работу продолжают расчищать на композицию, теорию фотографии и множество других частей, пока я потею в стороне. Помещение, в котором мы собрались, пахнет кофе с молоком и сдобой. К стенам приставлены множество кресел и два дивана. Сами стены увешаны всяческими репродукциями. Посередине — столик с яствами и чучелом попугая. Свет падает только на работу, в комнате — полумрак.

Сразу после обсуждения все расселись. Я — по правую руку от него. Началась беседа о шаманизме. Все пьют кофе или чай с булочками и слушают. В таинственной темноте хозяин дома торжественно, но не нарушая ощущения таинственности, говорит о связи шамана и художника. Когда глаза привыкают к темноте, я замечаю, что его веки закрыты. Всё внимание держится на переливах его голоса. Другие молча посасывают чай. Саша-одногруппница пишет в тетради.

Монолог разливался по комнате, заставляя нас размышлять и делать выводы. Подобно водам Нила он создавал вокруг плодородную почву для наших собственных рассуждений.

Когда Львов закончил, он открыл глаза и оглядел свою группу. Мы внимательно смотрели в них, различая на фоне белого мрамора красные прожилки усталого человека. Человека слишком старого и напряжённого, не имеющего ничего общего с элегантным наставником, которого мы видели полчаса назад.

Львов вскоре вспомнил, что Аня играет на флейте, и предложил выступить. Пока девушка играла, к нему подошла Саша. Они переговорили о чём-то быстро. Затем Львов положил руку на её плечо и покачал головой. Саша села на место. И не аплодировала со всеми. Затем мы, наконец, перешли к самой интересной теме, пред-

стоящей выставке. Я заметил, как все слегка напрыглись. Душное гудение в моей голове одновременно сосредоточивает и нагоняет сон.

— Итак, ничего необычного не будет. Каждый выставляет работу, над которой трудился последний семестр. Вы, мой дорогой, — он обращается ко мне, — напишите новую работу. Эта неплохая, но выставлять я её не буду. Будем считать, что она уже выставилась у нас, тут. Это — хороший старт. Теперь я жду чего-нибудь более прочувствованного. Может, даже чего-нибудь во врубелевской стилистике. Кажется, у вас это хорошо выйдет...

Я побывал уже на двух встречах львовцев. На первой мы говорили о картине Вали «Автопортрет сумасшедшего». На холсте был монгол, сжимающий на уровне груди жёлтой рукой нож, крест и кисть. В следующий четверг мы говорили об «Извержении вулкана». Так называлась Анина очень экспрессивная работа в красных тонах. Каждый раз я впитывал как губка новую информацию, стараясь не выглядеть восхищённым школьником, не броситься к блокноту раньше, чем мы сядем по местам и все закроют глаза.

Как оказалось, меня пощадили в первый день. Обсуждение работ старожилков оказалось куда более строгим, чем моё. Критиковались абсолютно все мелочи: от неверно обозначенных акцентов до толщины мазка. Потом Львов (имени его никто не произносил, и я сомневался, что они его знают) заводил пространную беседу об интуитивности, о таинственной черте раскрытия художника, к которой они приближаются, судя по словам наставника, с каждым новым шагом, ещё о Дионисе и о Герострате. Потом все заканчивалось, мы выходили ошарашенные, вдохновлённые и сокрушенные одновременно.

Запах сдобы

В ОБЩЕЖИТИИ эпидемия весеннего гриппа. Сеня чихает, как будто его крепко бьют под дых. Кажется, сейчас он начнёт отбиваться, стараясь найти растворённого в воздухе противника. У него красный нос на бледном лице и смешные ботинки на клетчатой бумаге. Там, в клеточках, он тщательно замаскирован мной под клоуна. Бедолага озирается в поисках кегли для жонглирования, неустойчиво замершей у него на голове.

Последнее время мне катастрофически не хватает времени на такие забавы: я собираю работы к зачёту и пишу картину для выставки.

Скоро придет Аслан. Он будет рассказывать тысячи всяких смешных историй из своей африканской жизни, перемежая их заметками, что в остальное время было ужасно скучно и что он получил катастрофически мало писем от меня. Я расскажу ему про Львова, про то, что Львов — чистый сосуд искусства. Попытаюсь объяснить ему то, что понял, но, скорее всего, Аслан быстро устанет от «философии» и переведёт все в шутку.

Нет, я не стану рассуждать с ним об искусстве.

Он просто порадуется моим успехам и начнёт думать вслух о причинах такого маленького количества писем от друзей.

Помимо Аслана, я с десяти лет дружил с Настей, она поступила на юриста и теперь работает официанткой, чтобы оплатить обучение. Этим вечером я решил позвонить ей. Странно, но о ней я не забывал никогда. Писать письма Аслану казалось мучительно тяжело и скучно, а вот звонить Насте по выходным, слушать, как она занята в последнее время, как мало у нее времени и какая у них там погода, — всегда легко. Попытался объяснить себе, что телефонный разговор намного интереснее общения, так сказать, эпистолярного, но тут же подумал, что если мы втроем общаться только письмами, ничего бы не изменилось.

Когда пошли гудки, я передумал говорить. Во мне было столько новых мыслей, столько информации и понимания! Я боялся лопнуть, как мыльный пузырь. Вот только мне не с кем было этим делиться. Настя всегда далека от искусства и размышлений. Ей это будет скучно, но она покорно, по-дружески выслушает все мои истории. Я смотрю перед собой, не видя грязно-жёлтой стены. С каждым новым гудком сложнее решиться выключить телефон...

...Над потолком гудят лампы, хотя в аудитории довольно светло. Я перестаю мять билет и подсаживаюсь ближе, уверенный в себе. Перед мной сидит Саша с вопросом об отечественном авангарде. Она говорит много, но только по делу. Я подхватываю ход ее мыслей. Слушаю внимательно и начинаю чувствовать запах сдобы. Сашин голос звенит на зачёте холодной стальной. В её словах невозможно усомниться, ведь сам Львов вкрадчиво нашептывает ей на ухо ответ. Я даже помню этот вечер. Одна из последних наших встреч. Мы слушаем о неверном подходе к Кандинскому, о советской действительности, о закоренелости ума. Львов сидит на своём кресле, протянув руки вдоль подлокотников и положив одну ногу на изящную табуретку. Он изящен в своем возрасте. Он ещё более

изящен в речах. Каждый семинар он повторяет одну фразу: «Искусство — интуитивно». Из этой, казалось бы, безобидной истины растут глубокие корни. Растут куда-то в мозг.

Что-то тревожит меня в ответе одногруппницы, но я не успеваю понять что, потому что на моё плечо ложится её рука. Она радуется зачёту и желает мне удачи. «Ваш билет?..»

— Алло?

— Настя, привет.

— Привет.

Пауза.

— Как дела? Занята?

— А? Нет. Я просто недавно встала. Вчера с девочками...

Сам по-дружески выслушиваю её вчерашнюю историю, вру, что должен идти. Зачем я ей позвонил?..

Распечатал черновик доклада по этике. Читаю. Боюсь, он настолько скучный, что преподаватель впадет в спячку на пару столетий. В углу листа рисую паука. Пока рисую, вспоминаю недавний сон.

Серый паук с несколькими красными глазками в два рядка крепко держится четырьмя лапками за свою сеть, а остальными вращает меня, оборачивая в плотную паутину. Она как вата и гипс одновременно. Мне удастся посмотреть на него, когда он поворачивает меня к себе, но недолго, потому что начинается новый круг и очередной виток крепкой нити упелёнывает неподвижное тело. Когда его лицо исчезает, я вижу другие жертвы, подвешенные к сети в темном углу. Они, как и я, в толстой паутинной броне. Я не вижу лиц, но чувствую, как они ждут, когда паук подползёт к ним и накачает сладким ядом.

Черта раскрытия

МЫ СИДИМ в лодке. Я и Львов. Это уже не сон. Мы у него на даче, в Масловке. Я долго не решался ехать и передумал в последний день. На берегу сидят ребята с мольбертами.

— Почему ты перестал ходить на наши беседы? Ты разочарован?

— Нет. Это очень поучительно.

— Чего же ты исчез?

— Готовлюсь. Скоро просмотр... У меня не хватает работ.

Я не вру. Мне не хватает материала по рисунку. Но не из-за этого я перестал посещать кружок. На встречах всё чаще стали говорить о переломе и черте, о том, что для этого нужно пережить что-

то особенное. Никто точно не говорит, что он имеет в виду, но я чувствую, что они объединены этим. Пережитым. Но я не хочу об этом разговаривать с ним. Я пропустил уже два четверга.

— Это да. Это важно... — вижу, что он так не думает, а только хочет поддержать беседу. — А представь, — продолжает он, глядя, как я разгоняю тяжёлыми вёслами воду, — как легко было бы без этих условностей. Зачем мне просмотры каждый семестр? Я ведь участвую в выставках, рисую ночами, переживаю своё искусство... Ты знаешь, как я про тебя узнал? — он прищурился и, кажется, вспомнил что-то забавное. — Саша рассказала про графин в ваших штудиях.

Я начал краснеть.

— Надо сказать, я расстроился. Этот графин или его брат-близнец — их, знаешь, было два раньше — пылился там у вас с основания вашего училища. Я еще помню, как студенты показывали мне свои эскизы, когда я у вас работал.

— Извините.

— Да это ерунда. Саша рассказала про графин, и так я тебя нашел. Не разбейся он, не случилось бы нам познакомиться. Чтобы случилось что-то грандиозное, нужно что-то уничтожить, — он замолчал, а затем снова улыбнулся. — Но, когда я увидел эти зарисовки, расклеенные по стенам института, я понял: этот человек хочет заявить о себе. Тогда я уже не сомневался, что сделал правильный шаг.

— Ах, это... — я отчаянно старался медленно дышать и опуститься ближе к прохладной воде, чтобы горящие щёки побледнели.

Видя, как я сконфузился, Львов замолчал.

— Я, представляете, не умею плавать, — неловко сказал я, сразу начав стыдиться этой глупой фразы.

— Правда? Хм, удивись, если я скажу, что тоже тону в воде?

— Нет.

— В прошлом году. Стоп, или даже в позапрошлом... мы тут плавали с Игнатом. Он вот там примерно нырнул с лодки и доплыл до берега. Но тогда теплее было. Сейчас бы не доплыл...

Я представил, как Игнат по-молодецки прыгает в воду с деревянного борта и исчезает под водой. Выныривает ближе к берегу, улыбается тёмными дрожащими губами.

— А не холодно было?

— Да нет.

Молчим.

— А что вы имели в виду, когда говорили о переживании искусства в жизни? Я, честно говоря, так и не понял.

Мне не хотелось об этом говорить сегодня, но я не знал, чем еще заполнить долгие паузы.

— Очень хорошо, что ты об этом сейчас заговорил, Степан. Я уж и не знал, как к тебе подступиться. Видишь ли, каждый год мы с ребятами плаваем тут на лодке. Тут тихо и спокойно. Душевная благодать. И я рассказываю новичкам, как пережить то, что сделает их искусство... выразительнее.

Его серьёзный тон немного испугал меня. После нашей пустой беседы он вдруг сильно изменился в лице.

— Видишь ли, уровень моих подопечных, позволь мне вас так называть, растёт от работы к работе. И дело не в технике. Я бы даже сказал, техника часто мешает вам раскрыться. Главное в искусстве — переживание. Автор не сможет передать палитру ужаса от совершения греха, если сам его не испытает. Для многих художников это был случайный опыт, многие искали его интуитивно. То, о чем я говорил недавно, да? — На бледном лбу Львова выступила жилка, глаза блестя, как водная гладь на солнце. — Но мы с твоими коллегами ищем этого опыта. Знал ли ты, что Игнат ходит в церковь каждое воскресенье? Ему больно говорить о современной церкви. А ещё больше для него... было портить священный лик. — Он замолчал. От неожиданности я не мог прокомментировать его слова. — Разумеется, мы против насилия ради насилия. Это глубоко отвратительно нам, — продолжил он. — Аня рассказывала, что плакала, глядя на огонь в окнах поликлиники. А потом родился «Вулкан»...

Я слушал, ошарашенный, не веря его словам. Все эти люди были вокруг меня. Они образованные и начитанные и... верят в то, что творят. Они, возможно, лучшие студенты нашего института. Они — чокнутые!

— Теперь твоя очередь. Твой первый Шаг за черту раскрытия уже почти совершён. — Его глаза прижали меня ко дну лодки. Я икаю. Волны стучают в борт лодки: нас развернуло. — Саша завела знакомство с вашим однокурсником Сергеем. Говорит, он круглый отличник и неплохой рисовальщик. Говорит, ты высоко ценишь людей... его склада. Она пригласит его в ночной клуб этим вечером... Он отключится. Тебе нужно будет сделать что-то настолько ужасное... чтобы это задело все без исключения струны твоей души. Понимаешь? Чтобы пережить момент перехода за грань, взглянуть на мораль изнутри. Например, отрезать ухо...

Львов достал из кармана бритву и протянул мне. Некоторое время я полулежал, всё ещё не

придя в себя. Затем, сам не осознавая своих мыслей, резким деревянным ударом выбил бритву, и она булькнула за бортом. Наставник никак не отреагировал, только выпрямился во весь рост.

— Что вы сделаете, если я откажусь?

Он молчит.

— Неужели все до меня соглашались?.. — Я замер. Он прочел мысль, застывшую на моем лице, и ухмыльнулся.

Теперь я увидел, как на самом деле плавал Игнат. Как трясся от холода, пытался забраться обратно.

Львов схватил меня за грудки и поднял на ноги спиной к борту. Он толкнул. Я схватил его за вязаный свитер, но не устоял и ударился лопаткой о деревянный борт, ухватился за перекладину, на которой только что сидел, и двинул ему ногой по ключице, когда он наклонился, чтобы вытолкать меня из лодки. Она опасно зашаталась.

— Чокнутый! Чокнутые, вы все чокнутые!

Краем глаза заметил, как Игнат, Валя и Вадим отчалили на второй лодке.

Я встал и толкнул Львова так же, как он меня. Лодка шатнулась, чуть не перевернувшись, я схватился за борт, а Львов хлюпнул в холодную воду.

Я схватился за вёсла. Грести получилось с третьего раза. Львов не выплывал. Под собой я нашёл круг и бросил в то место, где он исчез. Он всплыл неподалёку и плевать хотел на круг. Легкий, как бабочка, он плыл по воде к лодке Игната.

Я снова взялся за весла. И-и — раз. «Не думай, дыши полной грудью...» И-и — двас. «Осталось только грести!» И-и — раз. И-и-и...

— Дурак! — кричит Игнат. — Дурак, мы помочь тебе хотим.

Он хрипит, гребёт он быстрее.

Но их там трое. И лодка у них больше, а весла одни. Они сменились дважды до того, как прекратили преследование. Грести пришлось ещё около четырёхсот метров. Сколько это узлов? Я сильно устал. Причалил. Вспомнил, что оставил там рюкзак с телефоном. От берега до трассы. Там на попутке до города. Заказал такси с телефона водителя. Он невысокий, в костюме,

сидит за рулём, как за компьютером. К таксисту пересел на въезде в город. Проехали до общаги, потом сразу на вокзал. Билетов до дома, разумеется, нет. Договорился на купе с проводником. Поезд отправляется через четыре часа.

Возвращение

СКУПЫМИ И УГРЮМЫМИ штрихами на лист ложится голова тролля. Она, безобразная и кособокая, мнёт белизну ровного листа и поднимается на собственных тенях над поверхностью бумаги.

Поезд тащится вперёд медленно. Словно волоком на натянутых рельсах, к которым где-то вдалеке прикованы железные быки. Они сурово выдыхают пар из широких ноздрей и клонят головы вбок, надеясь пройти когда-нибудь по Уолл-стрит.

Я возвращаюсь в училище. Сижу за столиком нижней боковой и рисую. Визгливые всплохи красной маркировки столбов смываются в окне набирающего скорость поезда. Наконец повеял прохладный воздух.

В поезде жарко. Такой жары обычно не бывает в первых числах июня. На столе почти допитая бутылка славяновской, моя старая кнопочная «нокиа» и газета за двадцать третье мая. Я перечитываю её каждые полчаса. Точнее, не всю газету, а небольшую сводку на развороте:

«Двадцатого мая полиции удалось задержать группу вандалов за порчу имущества и хулиганство. Главой группировки оказался уважаемый деятель искусства и меценат...».

Дочитал до конца, пробежал по сводке еще раз и убрал газету в рюкзак. Я спокоен.

Саранча

НА ПЫЛЬНОМ ПОЛУ у кровати лежат Сенины носки. Долго рассматриваю комнату. Потом беру холст — Сенин, он не против, — этюдник с красками и иду в кухню.

На холст ложится гладкий хитин. И пока линия не упрётся в свой конец, я могу ещё выбирать.